

НИКОЛАЙ ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

**КАРАНДАШОМ С
НАТУРЫ. ПО
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

**Николай Георгиевич Гарин-
Михайловский**
Карандашом с натуры.
По Западной Сибири

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25205956

Аннотация

«Тому уж несколько лет. Едем по Уральской дороге, и из окна вагона видны знаменитые демидовские заводы. Было время, когда люди сотнями здесь пропадали с лица земли, о том повествуют летописи, знают бездонные погреба и кладбища...»

Содержание

Глава I	4
Глава II	21
Глава III	40

Николай Гарин- Михайловский

Карандашом с натуры. По Западной Сибири

Глава I

Между Пермью и Тюменью. – Тобольская Обь. – Коренные сибиряки. – Рассказы Ивана Владимировича. – Остяки. – Томск.

Тому уж несколько лет. Едем по Уральской дороге, и из окна вагона видны знаменитые демидовские заводы. Было время, когда люди сотнями здесь пропадали с лица земли, о том повествуют летописи, знают бездонные погреба и кладбища. И те и другие – места последнего прибежища и жертв и палачей. Сбыт фальшивой монеты шел здесь открыто. На упрек Екатерины II Демидов добродушно ответил:

– И, матушка, о чем толковать! Все мы твои и с потрохами!

Смотришь на эти чистенькие и беленькие постройки, крытые железом зеленые крыши, – на весь этот уютный и манящий к себе вид в майской веселой обстановке, и невольно

рисуются в контраст захлебывавшиеся когда-то в погребках, исковерканные ужасом и мукою лица... Дальше...

Вот и грязная Тюмень со своими «нуждающимися» переселенцами, река Тура, маленькая, узкая. Пароход то за дно задевает, то за берег.

По сторонам поля, поля и поля. Изредка деревушка на берегу. Навозу масса, и берег весь завален, – значит, в поле не возят.

В Иртыш вошли. Все та же пустынная равнина.

– Какая же это Сибирь? – говорит, недовольно морщась, один из пассажиров, инженер с собакой. – И что тут покорил Ермак, когда и теперь никого нет?

– Это, батюшка, все от настроения зависит, – отвечает мрачный контролер. – У меня был знакомый, и, знаете, его послали на Кавказ от пьянства лечиться. Ну, водки, конечно, ни-ни. Так что бы вы думали: озлился. Встречаю его, спрашиваю: «Ну, что Кавказ, как?» – «Какой Кавказ? говорит, никакого Кавказа нет». – «Ну, как же, говорю, все-таки – виды...» – «Какие виды? никаких видов нет». – «Горы...» – «И гор никаких нет...» Вот до чего можно дойти.

Тобольск. Мостовые из досок, музей, памятник Ермаку. Музей небольшой, привлекающий своей простотой и запахом Сибири: эскимосы, самоеды, олени, медведи, упряжь,

одежда, оружие, латы; но тут же поломанный нивелир фабрики Герлаха. И он, конечно, выстоится и в свое время тоже стариной станет. По стенам портреты Ермака. Пять их, и сходства между ними никакого.

На обратном пути из города к пароходу встретили партию арестантов. Идут, звенят кандалами; торчат рыжие голенища; серые халаты, на спинах по два бубновых туза; наполовину обритые головы по продольному направлению. Арестанты на нас, мы на них смотрим, ищем следов злобы, отчаяния, преступления, но глаз утомляется на общих масках тупого равнодушия, апатии, и только изредка ловишь злорадный, звериный взгляд тоски и горя. И все то же общее впечатление строго арестантского цвета: серого неба, серой реки и всей серой, однообразной природы, той Сибири, которую мы до сих пор видели.

Приехали на пароход. До отхода еще полчаса. Пьют пиво, разговаривают о городе, рассматривают покупки и угадывают цены. На пристани праздного народа масса. Стоят и смотрят. Молодой человек, в легком костюме, довольно грязном, больше, очевидно, думающий о материях высших, чем о том, что у него под ногами, споткнувшись на кем-то положенную палку, чуть было не растянулся на полу, но оправился и сел возле меня.

– Далеко-с?

– В Томск.

– Из Петербурга?

– Да.

– А я, позвольте представиться, здешний репортер. Может, слышали о нашей газете? Не слышали, конечно; двести пятнадцать экземпляров расходуется. Сто восемьдесят платных, тридцать пять даровых. При начале издания так и рассчитывали: городскими только ошиблись – считали восемьдесят, а набралось девяносто.

– Что ж вы не продаете отдельными номерами? Вот бы и мы купили.

– Не разрешают.

– Как же? Ведь это мера наказания.

– Ну, и редактор то же говорит, а местная власть говорит, что она права не имеет на розничную продажу, ну, и не продает... Конечно, если бы через министра – можно бы добиться; но ведь тогда совсем зарез будет: вроде войны выйдет, – тогда и все бросай. Теперь и то уж... Дама одна... тут благотворительный спектакль нам расстроила. Ну и описали так слегка в газете, а муж ее, доктор, ведь редактору и залепил затрещину. Да еще как залепил, – сзади! А! Ну, хотели огласку дать, – не разрешили.

– Дуэль была?

– Какая там дуэль... Так и пропало! А вы никакого материала не дадите нам?

– К сожалению, не имею... Да ведь у вас много же матерьялу должно быть и здесь.

– Да его-то много, да не любит наш цензор, вычеркивает.

Пишите, говорит, о чем хотите, – ну, о других губерниях; что вам непременно далась здешняя: забудьте о ней. Ну, о чем же писать? Кто его знает, как у других, свою знаешь...

– А можно бы было написать, если б позволили?

Молодой человек только рукой махнул.

– Пиво-то на пароходе у вас лучше нашего, сибирского?

У нас вроде как будто не настоящее.

– Еще бы в Сибири захотели настоящего, – вмешался один из пассажиров, Иван Владимирович. – В Сибири уж такое положение... все исполняющие должность, – ну, и пиво тоже вроде того, что должность исполняет.

Рассмеялись. Репортер заглянул мне в глаза и тоже вдруг рассмеялся. Добрые голубые глаза, голая шея, порыжелые сапоги, желтое лицо.

Опять поехали. Берег все уходил, река шире да шире.

Проснулись как-то: Обь. Куда глаз ни хватит, все вода да вода, а по ней, точно плавучие кусты, целые острова – голые, лишайные, с тонкими прутьями тальника, еле распустившегося. Чтобы сказать величественно было, поражало, подавляло – нет. Скучно просто...

– Чего смотреть? Идем в каюты. Там пиво, хоть выпить можно, а здесь на ветру...

И, не договорив, контролер молча стал спускаться с трапа.

Инженер с собакой еще постоял, скрючившись от «дыханья Ледовитого океана», или, говоря проще, от северного

ветра; оглянул серую безжизненную гладь, пустую палубу и тоже ушел.

Поскрипывает пароход, иногда порядком покачивается от расходившихся на просторе волн; сверкают мрачные свинцовые тучи; ветер воет; оголенные деревья, когда к ним подойдешь поближе, свистят свою унылую осеннюю песенку. Кто бы узнал здесь, в этом костюме веселый месяц май во второй его половине?

В рубке все уютно сидят, все выползли из своих кают: кто играет, кто обедает, кто чай пьет. Никто не читает только. Дамы с работой чувствуют себя хорошо, уютно, не прочь от беседы, – умные слова, умные речи – товар лицом показывается. Только двое – контролер и инженер скучными, усталыми глазами обводят по временам общество и еще усерднее после того стараются забыть за картами все окружающее.

Иван Владимирович, толстый старик со вставными зубами, коренной сибиряк, как он сам себя аттестует, сидит на диване и рассказывает о сибирских делах и порядках. Рассказывает о том, как в Томске один полициеймейстер из беглых сидел несколько лет и ушел по доброй воле, а не уйди – и теперь бы, вероятно, сидел, о том, как один сибиряк пропал за то, что дневник вел.

– И ничего в этом дневнике, знаете, не было, кроме одной фразы, что вот, мол, какие бывают прекрасные люди. Ну, и рассказ при этом.

– Да за что ж тут пропадать? – окрысился инженер.

– А вот пропал же, – с злорадным торжеством проговорил Иван Владимирович и начал нюхать из табакерки табак.

– Да... – начал было инженер, вероятно желая возразить, но посмотрел на рассказчика, на публику и пренебрежительно переглянулся с контролером, получил поддержку и молча уткнулся в карты.

– Вот и да... – тихо, самодовольно пробурчал Иван Владимирович, – вот и да... Надо сибирскую жизнь знать, понимать надо... вот тогда и будет да.

И опять новые рассказы про горного исправника. Иван Владимирович искусно обрисовал тип пройдохи-негодяя, которого тридцать раз прогоняли за воровство, но в критические минуты снова принимали на службу за распорядительность.

– Действительно, я вам доложу, – говорил Иван Владимирович, сидя степенно, опираясь одной рукой о сиденье дивана, а другой, в которой была тавлинка с табаком и платок с красным обводом, плавно проводя по временам по воздуху, – бывают такие случаи в приисковом деле, что хоть бери, а дело делай. А то ведь неопытный да нераспорядительный совсем зарежет. Да вот я вам скажу... Приняли одного... Ну, действительно, честный, – ни-ни... Ну, хорошо... Приезжает на прииск... Речь рабочим говорит... объясняет им, что он взятку брать не будет и все у него будет по закону... Хорошо... Едет на второй прииск – и там то же... на третий... Объехал всех, воротился в свою резиденцию и руки потирает

от удовольствия, какой он честный человек. Вдруг – трах! – Бунт на приисках, бунт на приисках, в одном, другом, третьем... Сразу раскусили, что за гусь... Туда, сюда... Да хорошо, что еще вовремя догадались убрать, а то наделал бы таких делов... Круть-верть: опять этого прощельгу вернули... через месяц все тихо, спокойно. А так не видно: вор, вор, а вот как прогнали, вот тогда и оказалось... Ну, а вор действительно... грабитель просто...

– А в чем же польза от него? – спросил инженер.

– Ну, как в чем? Надо знать приисковое дело, тогда и польза понятна будет. Брал, вот и польза. Убился, задавило рабочего, сломало руку, ногу; норовят уйти рабочие – воротить их назад, обходиться без слова «бунт» – вот и польза. Где деньги добывают, там уж денег не жаль – бери, сколько хочешь, да дело делай.

Кто-то заметил, что теперь уж не те времена.

– Оно, конечно, не те, да и я ведь не про царя Гороха говорю.

– Выведут эти порядки...

– Конечно, выведут...

Иван Владимирович самодовольно посмотрел в окно.

– Я человек старый, мне ничего не надо... Я прямо говорю...

Иван Владимирович чувствовал в себе прилив хорошего гражданского мужества и так смотрел, что ясно было, что он готов хоть сейчас положить свои кости за правое дело.

– Вот как на своей шее почувствуете: я да я, да ничего знать не хочу, – вот тогда и заглохнет тоска... Точно вот целая этакая, можно сказать, огромная страна ему в наследство досталась... лежала, лежала, – видите ли, дожидалась охотничка на своем горбу ум его испытывать. А ведь каждый-то с каким умом приезжает: он один все видит, все знает, все понимает... он один все рассмотрел, а там до него, как, что – все ерунда, все потемки, один он принес свет, он знает... А суньтесь к нему, – что, мол, как же, господин честной, мы для тебя или ты для нас? Ежели мы для тебя, ну – так так, а если ты для нас, так хоть послушай нашего глупого слова, – вот он вам и покажет тогда кузькину мать – тогда и узнаете, что такое эта самая Сибирь...

Ивану Владимировичу не мешали, и по стариковской болтливости он не думал себя удерживать.

– В городах, по трактам везде казенное клеймо, на каждом шагу. Вы чувствуете: если казенный вы человек – вам место, не казенный – вы так себе, терпеть вас только можно... вот вы кто... Это по казенному аршину... Это на первом плане. За казенной Сибирью идет коренная Сибирь: торговый народ и простой. Это опять особенная жизнь, особенный строй, которого никто не знает, всякий по-своему прицеливается, но никто колупнуть не может, и не понимает, да и не дорос... Это уж не в обиду... За этой Сибирью опять идет целая Сибирь: вольная, бродячая Сибирь. Это опять целое царство: тут опять надвое делится: бродячие народы, на

законном основании – переселенцы и коренные бродяжки... Вот тут и разбирайся... Каждая жизнь свое ядро имеет и не сливается с другим, а только соприкасается. Вот в этих местах, где она прикоснулась, там и видна она, а ядро-то самое, что там в нем – это ни один из ваших писак никогда не видел, а видел, так не понял. Потому что, чтоб понять, мало родиться в Сибири, а от деда к внуку это пониманье идет.

– Ну, чем же у вас занимается, например, торговое сословие в Сибири? – спросил едко инженер.

– Как чем? – Торговлей... Золото, чай, пушной товар...

– Ну, вот про прииски мы слыхали... для чего вот вам воровство исправника нужно, а про пушное дело, водку и прочее расскажите нам; расскажите, кто развратил всех этих остяков, бурят и прочих?

Иван Владимирович тяжело встал.

– Стар я, отец мой, чтобы шутки надо мной шутить, – проговорил он и с чувством собственного достоинства ушел в каюту.

– Гусь, – пустил ему вдогонку инженер, – коренной гусь...

– Какой он коренной, – пренебрежительно проговорил один из пассажиров, – это бывший управитель казенного завода, при Муравьеве в отставку вышел или должен был выйти... Ну, родился действительно в Сибири, но и отец был чиновником. Он лезет только в коренные... Вот видели, вместе с ним ушел старик, бритый, молчит все да слушает, – вот этот из коренников... У этого вот десятка два миллионов

наберется; ну так он и разговаривать не будет, а это только так... бесструнная балалайка, и говорит он, чтоб больше заслужить пред вот этим бритым.

В это время на палубу поднялся тот, о ком говорили, – бритый господин, и все смолкли.

С широким плоским лицом, плотный, бритый господин смахивал скорее на типичного актера-трагика, чем на коренной Сибири миллионера. Его поношенное пальто, скромный вид, скромная манера совсем не импонировали публике. Он подошел поодаль к играющим и заглядывал в карты. Он приятно улыбался ошибке игрока и напоминал собой скрягу, ищущего дешевых развлечений. За обедом ел только то, что было в карточке обеда, два раза чай пил и недоверчиво косился на тех, кто внимательно, сосредоточенно старался проникнуть в глубь этих безраличных скромных глаз.

А на палубе по-прежнему холодно – дует ветер, ходят по небу тучи, сердито скалится река своими белыми гребнями, то и дело появляющимися на волнах, уныло машут своими оголенными вершинами деревья, и только чайки среди этой всеобщей тоски сохраняют свой обычный бодрый, веселый вид.

Иногда мелькнет на берегу затопленная деревушка – иногда две-три избы, наполовину в воде – летнее пристанище остяков.

Иногда пароход пристает за дровами и провизией к такой деревушке, затопленной водой, где единственное сухое ме-

сто – узкая полоса берега.

С одной стороны этой полосы необъятная Обь, а с другой – непроходимый лес. В этих деревнях население смешанное – русское и остяки. Собственно из русских две-три семьи: лавочник, содержатель кабака да поставщики живья на пароходы.

Остяки – низкорослый народ, на коротких ножках, которыми ступают неповоротливо, неуклюже, как водяная птица. Мы прошли в юрту одного такого остяка. Хозяин ее лет пятидесяти пяти, с длинными с проседью волосами, с бритым, на финна похожим, лицом. Он жил на даче, то есть в юрте, рядом с избой. Эта юрта, сделанная из березовой коры, искусно между собой сшитой, помещалась в нескольких саженьях от постоянного его жилья, маленькой курной избенки. Кругом юрты и избы валялись кучи навоза; было грязно, сыро; воздух пропитан тяжелыми испарениями нечистот.

Хозяин сидел в юрте, по обычаю восточных народов, поджав под себя ноги, курил и ничего не делал. Рядом с ним в таких же позах сидели две женщины – маленькие уродливые создания. Одна вдобавок с провалившимся носом. Сифилис страшно развит у остяков, и, вероятно, он да безбожная эксплуатация покончат вконец с этой народностью.

На наш вопрос о позволении войти остяк-хозяин апатичным говором чухны ответил:

– Иди...

Мы вошли, и так как стоять было затруднительно, то се-

ли на корточки. Мы сидели перед чем-то вроде ковра или скатерти, разостланной на полу. Перед нами висел на поларшина от пола образ; по бокам его расставлен был разный хозяйственный скраб: горшки, посуда и проч.

– Православный?

– Конечно, православный, – проговорил апатично-брюзжливо хозяин. – Русский шеловек может ли быть не православный? Православный, конечно... В бога верим... русский шеловек...

Русский «шеловек» сплюнул, сделав кислую мину, и устоялся мимо нас в пространство.

– Это что ж, дача у тебя?

– Конечно, дача.

– Зимой в избе живешь?

– Конечно, в избе.

– А что делаешь?

– Всё делаем.

Старик говорил как-то раздельно, по-детски, мягким однообразным голосом.

– Рыбу ловим, зверя бьем, медведя бьем, белку бьем, орех собираем.

– Хорошо живешь?

– Хорошо живем.

– Водку пьешь?

– Водку пьем.

Вышли из юрты. На дереве развешаны вещи: полушубки,

теплые шапки, засаленное, в пятнах, триковое женское пальто, женские ботинки.

– Молодая жена?

– Молодая жена.

– Молодая обновку любит?

– Известно, что любит.

У дерева вертелись привязанные две среднего роста собачонки, по виду совершенно смахивавшие на волка.

– Хорошие собаки?

– Хорошие собаки.

– На охоту ходишь с ними?

– На охоту ходим.

– Медведя умеет искать?

– Медведя умеет искать.

– Порядочный автомат, – проговорил один пассажир.

– Знамо, порядочный, – так же флегматично ответил остяк.

Перед избой лежали нагруженные друг на друга сани на высоких полозьях, узкие для одного, и напоминали собой зимнюю работу остяка. В своем меховом коротком костюме, в своем меховом капюшоне едет он, затерявшись в необъятной тайге, на этих санках. Прижавшись, сторбившись, бегут по сторонам его собаки; привычная лошадь равномерно ступает по знакомой только ей тропинке; заносит их снегом, сверху пурга вертит, и свистят там и шумят, как море, высокие вершины деревьев. А на сотни верст ни жилья, ни стану,

никакого намека на человека. Встретится берлога мишки, разбудит остяк хозяина берлоги – и пойдет неровный бой: кто чью шкуру сдерет, кто за чей счет пообедаст сегодня. Бой с медведем у остяков оригинальный. Остяк говорит: «Медведь, который встал на дыбы – мой!» Такому поднявшемуся медведю остяк бросается прямо под ноги и, пока медведь старается содрать кожу с ног остяка, тот, вонзив ему нож в живот, спешит, подвигаясь назад, добраться до сердца медведя. Кто первый успеет сделать свое дело – тот и победитель. Защищает остяка сплошная кожа, из которой сшиты его сандалии, штаны и куртка. Но беда, если медведь опытный и не хочет вставать на дыбы, а, напротив, бешено носится вокруг, стараясь сбить с ног остяка. Напрасно будет ждать своего хозяина молодая жена.

Ближе к Томску расплывшаяся на десятки верст Обь начинает понемногу собираться. Появляются возвышенные берега, и мало-помалу теряется впечатление какой-то несформированности, впечатление страны какого-то будущего геологического периода.

И май месяц начинает входить в свои права. Деревья распустились, чувствуется запах черемухи, слышно изредка пение и чириканье птиц. И ночи потеплели.

Собственно ночей здесь почти нет. Читать все время можно. На полчаса слегка потемнеет, и уже опять горит восток. Это самый эффектный момент. Переливы цветов на воде: розовый, нежно-малиновый, у берега реки голубой, и

на всем этом мягкие, нежные тоны непередаваемых красок. Природа, как человек, начало знакомства – никакого впечатления, узнаешь, ознакомишься – и уже другое впечатление. Присмотрелся я – и здесь явилась красота переливов, и оригинальность тонов, и яркость красок, и проч.

Вот начало восхода. Мы плывем точно в саду, сквозь редкие деревья словно задымилась вода, слегка розовая, прозрачная, вот-вот готовая вспыхнуть поваром восхода. Стадо белых лебедей вспорхнуло в этом розовом фоне рассвета, среди аромата черемухи. Лебеди медленно потянулись низко над водой и потонули в пурпуре утра, в огне выплываемого из-за далекого леса красного большого ярко-золотого шара. Этот шар еще не дает света; по другую от нас сторону реки резкой чертой оттеняется неосвещенная даль, вся слившаяся в один темно-сизый с фиолетовым отливом цвет, и вода и небо; только лесной берег как поясok разделяет воду от земли. Здесь, по эту сторону парохода – разнообразие красок, поразительный эффект; там – однообразный сплошной колорит, мрачный и сильный. Но выше поднялось солнце, отразилось в воде и, слившись с своим отражением в общий сплошной ослепительный цилиндр, загорелось и осветило все округи.

Дико и величественно.

А вот и город Томск и гостиница, его сибирское подворье, где остановился я. Типичная казарма: белые низкие коридоры, висячие замки на номерах, запах махорки, запах че-

го-то старого, дониколаевского. В окно номера глядит кусочек серого неба, пустой косогор, ряд серых заборов, домики с нахохленными крышами, маленькими окнами и низенькими комнатами – это город Томск. В девять часов вечера на улицах уже ни души, спускают собак. Ни театра, никаких развлечений. В каких-то укромных углах свои люди – чиновники, купцы – играют в карты, сплетничают, задают тон... Провинция глухая, скучная провинция, колесо жизни которой перемололо все содержание этой жизни в скучное, неинтересное и невкусное мелево. Арестанты, ссылка, каторга – вот о чем говорит этот город, этот вход с дантовской надписью: «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate»¹.

¹ Оставьте надежду, входящие сюда (*итал.*).

Глава II

Уголок Сибири между Обью и Томью. – Из Томска в Талы. – Ямщик Иван.

Я не хочу ничего дурного сказать про русского крестьянина; но пальму первенства по развитию, незабитости, большей интеллигентности, открытости и доверию, по чистой совести, должен отдать сибиряку. В одном они схожи: у обоих никаких потребностей: сыт – и ладно. Заботливости об улучшении своего положения, о возможности эксплуатации сил природы – никакой. Что она сама, так сказать, добровольно дает – то и ладно. К тому и приспособливаются, так и складывают свою жизнь. Между Обью и Томью² крестьяне живут земледелием. Земля родит хорошо, ее вдоволь, и кто сколько хочет, тот столько и сеет. Система посевов залежная: три, четыре, пять хлебов, – и земля бросается на пять-шесть лет, пока кто-нибудь не подымет ее снова, найдя, что она вылежалась и уросла. Постоянного посева на одной и той же земле нет, четвертый и пятый хлеб уже давит такая трава, о какой в России и понятия не имеют. Страшные здесь травы: чуть немного потное место – почти закрывают они человека.

² Я говорю о треугольнике, вершина которого Томск, а база – село Кривошеково на реке Оби (где назначен железнодорожный мост через Обь) и село Талы на реке Томи (железнодорожный мост через реку Томь). (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)

Спасение от них: выжигать их весной, «палы пускать». Это же спасает землю и от прорастания лесом. Крестьяне говорят, что если не пускать по пашне палов, то первую же весну березняк всходит, как сеянный. Такой же факт я наблюдал в Самарской губернии: там я бросил поле – пошел березняк, и теперь это прекрасная, как будто насаженная роща.

Но понятно, как палы губят лес. Нет никакого сомнения, что здесь, в местах, доступных хлебопашеству, весь лес обречен на гибель. Массу пахотей теперешних занимала прежде сплошная тайга. Остатки ее, переход от тайги к пашне, составляет колодник, – это поле, сплошь усеянное громадными, полусгнившими, лежащими на земле гигантами (сосна, кедр, ель).

Земля родит отлично в полосе между Обью и Томью, но хлеб больше солоmistый, и надо обязательно парить и под яр и под озимь, иначе хлеб не выспеваает. Все-таки с хозяйственной десятины (две тысячи пятьсот квадратных сажен) средний урожай сто пудов, а в Самарской губернии с десятины в четыре тысячи квадратных сажен средний – семьдесят пудов. Сеют понемногу, каждый обрабатывает, что ему под силу, наемного труда почти нет; этим и урожайностью и обуславливаются малые посевы. С землей обращаются небрежно: сплошь и рядом вспашет, а потом раздумает сеять, – так она и пойдет небороненная под сенокос. А такое поле, представляя из себя застой для воды, при сырых здешних местах легко превращается в болотистое место.

Своеобразная особенность местности между Обью и Томью: вся она изрыта громадными глубокими оврагами, которые называются здесь логами (падями); пространства между этими логами, возвышенные, удобные для пашни места, называются гривами. В логах лес растет; на гривах (каждая представляет из себя довольно ограниченное пространство в пять-шесть десятин) ведется хозяйство (грива Власевых, Елисеевых и проч.). Крестьяне здесь живут неказисто, но и не нуждаются: пьют кирпичный чай, масло, яйца, молоко в каждодневном употреблении. Во всякой избе вам сварят хорошие щи, хороший суп, сжарят хорошо жаркое, – все это с умением и с привычкой обращаться с провизией. Попробуйте в России заказать в избе обед – наварят такого, что в рот не возьмешь.

Сейчас же за Томью, вне описываемого треугольника, далее на восток, характер местности и населения совершенно уже другой. Здесь уже лес, и главный доход населения – лес, извоз и охотничий промысел. Лес возят в город в виде, главным образом, дров на плотах по Томи. На этих плотах и хлеб идет. Извоз в Иркутск; редкий крестьянин не побывает там.

– Извозное дело – затажное, как хозяйство: завел тройку – думаешь, о пяти, пять завел – десятку норовишь; с десятки на тридцать кучишься; добился тридцати – нет ничего, все разошлось, опять начинай сначала.

– Отчего же?

– Так... подобьется извоз, корм вздорожает, туда-сюда, и не видал, как в такие долги влезешь, что и не развяжешься.

Еще дальше на восток (верст тридцать от Томи) – уже сплошная тайга верст на сто, и исключительный промысел – зверной: медведь, колонок, лисица, волк.

Ближе к городу Томску население живет исключительно городом: огород, масло, мясо, яйца, дрова, но живут неважно.

– Деньги не держится, водку любят, на город надеются...

Около самого Томска масса дереvушек: десять – пятнадцать изб. Нужда, бедность поразительная: лачуги без крыш, одним словом, – самый нищенский вид.

– Так изо дня в день живут, только и знают, что в город всё волочат, что попадет.

Мужичонка зануженный, с жадными ищущими глазами, усердно косит кослию болотную траву.

– На что она ему? Ее ведь лошади не едят.

– В город. В городе все съедят.

Как и везде, более зажиточные те, которые умеют высасывать сок, то есть кулаки.

В хлебородной полосе они занимаются скупкой хлеба, а ближе к городу они являются крупными поставщиками дров; они посредники между населением и городом – раздают деньги в зимнее время под работу: сам за дрова в городе

берет 2 рубля 50 копеек, а сдает по 1 рублю 80 копеек. Торгуют скотиной.

За выпас 1000 голов, после снятия хлеба, с тем, чтобы скотина ходила везде, общество берет с них 30 рублей. Так быстро богатеют, и они, эти прасолы, всегда больше из российских.

– По этой части они умно живут и во всем толк понимают.

Я уже месяц верчусь по всевозможным направлениям этого треугольника между Обью и Томью, разыскивая и намечая будущую железнодорожную линию Сибирской дороги.

Магистраль назначил; очередь за варьянтами, то есть частичными изменениями.

Еду сегодня для такого варьянта из Томска в село Талы (на Томи, в девяноста верстах от города). Из Башурина³ повез меня мой старый знакомый Иван.

И он и я рады тому, что опять свиделись. На дворе начало июля.

– Вот и еще раз господь привел свидеться, – говорит Иван, выезжая со двора и приветливо оборачиваясь ко мне.

– Ну что у вас все благополучно?

– Все, слава богу.

Едем по берегу Томи. Татарская деревушка раскинулась на самом берегу. Гуси, скотина гуляют по зеленой лужайке. Обитатели всё бритые татары; сегодня у них праздник

³ Башурино – село в двадцати пяти верстах от Томска. (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.)

какой-то, и они праздничной кучей сидят на берегу, сонно смотрят на нас в своих бархатных тюбетейках.

– Чем занимаются?

– Извозом.

– Хорошо живут?

– Мало же... Больше в нужде.

– Рыболовством занимаются?

– Нет, по Томи мало рыбы. Прежде, говорят, было... воды большие пошли, доставать неудобно стало.

Навстречу едет, в широкой шляпе, широкоплечий, притиснутый мещанин в франтоватой притиснутой тележке. Рядом толстая, как бочка, нарядная баба. Мещанин степенно снял шляпу, я тоже.

– Это кто?

– А вот мельницу видел? Пять домиков? Это старший брат. Те, про коих сказывают, что от фальшивых денег жить пошли.

Я вспомнил о фальшивых деньгах, убийствах, о всех слухах, связанных с пятью домиками, и с любопытством оглянулся.

Я увидел только широкую спину старшего брата и курчавые русые волосы.

– Отличный мужик, дай бог ему здоровья, – все спасибо говорят. Если бы не он, наша бы деревня совсем пропала в эти два года; хлеб дорогой, весной где деньгу зашибать? а он, спасибо ему, хлебом всю деревню кормил.

– Даром?

– Где даром?.. Так ведь и в долг кто даст? Он, конечно, может, две-три гривны и дороже возьмет, да ведь даст народу помощь.

Иван сидит вполоборота, и, видимо, ему хочется продолжать разговор со мной...

– Это чья земля? – спрашиваю я.

– Отсюда к Томску пошла губернская, а к Кузнецку – кабинетская.

– Это что за губернская? казенная?

– Казенная, мы государственные крестьяне.

– И у вас, как у кабинетских, земля неделеная?

– То же самое. Кто где знает, там пашет и косит.

– А если одно и то же место двое захотят в одно время?

– Этого не бывает. Кто-нибудь да упредит.

– И ничего вы за это не платите?

– Ничего. Подать только, конечно. На кабинет платят дань по шести рублей с души, а у нас нет.

– А если с другого общества соберутся к вам косить?

– Этого нельзя. Вся земля поделена между обществами.

– Ну, а есть такие, которые из года в год сидят на тех же землях?

– А как же? Кого сила берет да земля удобная, от отца к сыну идет, а ослабели – другой примет за себя.

– А лес?

– Лес весь казенный, а если кто облюбует рощу, к приме-

ру, для пасеки, станет беречь ее от палов, чистить, ну, того и роща считается.

– И рубить ее можно?

– Для домашней потребности сколько хочешь руби. На кабинетской, там на душу положение, а у нас сколько хочешь, только в город не вези на продажу; у нас, впрочем, слабо насчет этого. Так, для примеру, возьмешь билет на сажень кубическую, рубль шестьдесят копеек отдашь и вози по нем целый год. А на кабинетской строго, там уж на лошадях не увезешь – поймают; надо билет брать, а брать билет, так уж расчету больше на плотах возить, так и возят. Кабинетские на плотах, а мы на лошадях, потому что нам вольготно.

– А совсем не брать билета можно?

– Если поодиночке али семейно – можно: дашь полесовому тридцать или сорок копеек, а артелью не пропустит и денег не возьмет, – свидетелей, значит, опасается.

Разговор оборвался. Мы едем по лугам, заливаемым Томью; мелкий березняк, тальник по бокам; Томь то здесь, то там сверкает.

Хотя июль, но холодно, как осенью. Солнце то выглянет, то прячется за тучи. Кругом яркая зелень. Летают чайки, маргышки.

В Яру перевоз через Томь. Паром на той стороне. Звали, звали, стрелял я два раза, – наконец, услышали, зашевелились, стали запрягать лошадей, и скоро воздух огласился шумом лопастей о воду. Здесь паромы приводят в движение

помощью лошадей. Лошади вертятся в кругу, устроенном в конце парома; колеса приходят в движение, и паром едет. На Томи две лошади, на Оби три.

В ожидании я хожу по живописному берегу Томи и ищу интересных камешков. Я хожу в сущности по золоту. В Сибири нет реки, где в песке не было бы золота; вопрос в его количестве, а следовательно в выгодности его добычи. Я нашел кусок кварца с блестящей золотой точкой. Неужели действительно золото? Я оглянулся к Ивану, но он куда-то ушел. Сидел только мой спутник, Михаил Осипович.

– Золото, – показал я ему.

Михаил Осипович посмотрел, отодвинул от глаз подальше и авторитетно проговорил:

– Нет.

Я не стал спорить, потому что знаю, что Михаил Осипович никакого представления о добыче золота не имеет.

Пришел Иван.

– Золото добывал? – спрашиваю.

– Бог миловал от греха. А вот какое золото добывал.

Иван вынул из пазухи кучу кедровых шишек.

– Где ты их достал?

– А вот, в поскотине.

Поскотиной называется отгороженное вокруг деревни поле и лес для пастьбы скота. Так как здесь весной палов не пускают, чтоб не сжечь самих себя, то лес в поскотине всегда густой, красивый и рослый. Настоящая роща кедров с массой

орехов. Эти орехи составляют целый промысел и требуют большого искусства для их сбивания. Надо влезть на самую верхушку дерева. Один будет сбивать целый день одно дерево, а другой пять таких деревьев успеет опустошить. Отсюда плата искусному работнику доходит до пяти рублей в день. Сбивают орехи между 15 августа и 1 сентября. В июле уже есть орехи, но они еще серные, липкие, и хотя сердцевина и вкусная, но добраться до нее можно не иначе, как обуглив на огне шишку: смолистые части выгорят и тогда не будут приставать к рукам и рту.

– А можно разве в чужой поскотине рвать?

– А пошто нельзя? их бог садил на потребу всем, все одно, как траву, лес.

Вот страна, которая ближе всех подходит к мечтам о том, что когда-то будет и было.

Мы разговорились.

– Хорошо здесь у вас, – говорю Ивану, – умирать не надо.

– И у нас худое же есть. Три зла у нас: первое мороз, второе гнус, третье грех.

– Какой грех?

– Какой? А зачем в Сибирь ссылают? Вот от этих самых бродяжек и грех.

– А разве они донимают?

– Всякие бывают. Плохо положишь – позаботятся... Да не в том сила: сейчас содержи его, да отвечай, да подвода – за-

мают. Хуже вот всех здешний же; они, к примеру, и не бродяжки, – только паспорта нет, – всё вот и шляется. Придет в Томск и объявится, что без паспорта; ну, его сейчас в тюрьму, одежду арестантскую и назад в Каинск или куда там. Сидит себе на подводе, а солдат пешком должен идти. Он развалится себе, как барин, а ты вези...

– Какой же ему интерес?

– А такой интерес, что арестантскую одежду получит, потому что, как его доставят в Каинск, что ль, – окажется, что он тамошний, – его и выпустят. А закон такой, чтоб выпускать с одежей. Ну, сапоги, одежда восемнадцать рублей стоят, сейчас ему и найдено. В Томске побывал, одежду справили, привезли, да еще и с солдатом, чего ж ему? Посидит – айда назад в Томск. Вот эти и донимают; самый отчаянный народ. А те, что с каторги тянутся, те никого не тронут, потому что опасаются, как бы не схватили; он так и пробирается осторожно до России, ну, там, действительно, ему не опасно.

– Отчего ж там не опасно?

– Да там поймают, первое – не бьют, потому что бьют только того, кого на месте, пока в Сибири еще, значит, поймали. Второе – опасно, как бы не признали, а в России – объявился бродягой, и концы в воду, – на поселение марш, а ему и найдено. Уж его тогда никто тронуть не может, будь он хоть сам каторжный.

– И много их, бродяжек?

– Тьмы кишат. Здесь им у нас, как в саду; первое – жале-

ют, подают; второе – работа. Так в настоящие работники его брать не приходится, а поденно поработал, получи и марш. Их ведь было порешили совсем прикончить, как у немцев; там ведь их нет: камень на шею и в воду; ну, вы сами знаете, пограмотней моего, а у нас царь воспротивел: пушай, говорит, бегают до времени, – из моей Палестины никуда не уйдут, царь их жалеет. Оно, конечно, – несчастная душа; с каждым может прилучиться. Как говорится – от тюрьмы да от сумы не зарекайся.

Иван замолчал и задумался.

– Со мной вот какой был раз случай. Еду я обратным из Варюхиной. Только выехал на поскотину, – выходит человек из лесу. «Свези меня, говорит, в Яр». Я гляжу: что такое, чего едет человек? ни при нем вроде того что ни вещей, нет ничего. Я и говорю ему: «Как же это вы, господин, так едете в дорогу?» Так чего-то он сказал – не разобрал; я посадил его, да дорогой и пристал к нему: кто он, да кто. Ну, он было туда, сюда и признайся, что убежал из Варюхиной от солдата, пошел будто себе на задний двор, да и лататы. Ну, думаю себе, дело нехорошее. Молчок. Только уж как приехали в Яр, остановил я посреди деревни лошадей и крикнул: «Люди православные, ловите его, это арестант, побег из Варюхиной, да ко мне и пристал». Ну, тут его и схватили.

– Тебе не жаль его было?

– А как же он подводил солдата. Ведь солдат за него пошел бы туда же. Никак невозможно! Пропал бы солдат. И

бил же его солдат, как привели назад. Ну действительно было отчаялся совсем. Уж тут так выходило: либо тому, либо другому пропадать, – друг дружку будто не жалеют.

Мы выехали на большую дорогу. То и дело тянутся обозы переселенцев.

– Много их?

– Конца света нет. Одни туда, другие назад шляются, угла не сыщут себе. Всё больше свои, сибирские же, из Тобольской больше губернии. А чего шляется? Чтоб повинностей не платить; он ищет место до смерти, а мир плати за него. Непутящий народ, нигде не уживаются.

– Куда же они едут?

– Да так, свет за очи. Всё больше за Бирск к белотурке... и у нас которые садятся, да не живут же, – всё туда норовят: там белотурка родит.

– Ну, а у вас они могут, если захотят, осесть?

– Могут. Общество их не примет, а губернское правление отписывает, чтоб принять, – помимо, значит, схода. Вот в прошлом годе было такое дело. Пришли двое и просят. Мир говорит: нам и самим тесно, мы вас не примем. Можете по другому закону сесть – садитесь, а от нас вам воли нет. Ну, они действительно отправились в город. Тут бумага из правления: принять таких-то, и не принять, значит, а прямо зачислить без мира, значит нельзя отказывать: иди кто хочет.

– И что ж, поселились?

– Живут.

– Что ж мир?

– Так что же мир? Как разрешили, так и живите с богом; взяли с них повинности, – паши, где хочешь, сей, где хочешь, как, одним словом, всё прочее.

– И не обиделся мир?

– Какая же тут обида, когда закон такой.

Иван замолчал, повернулся к лошадям и погнал.

В Сибири особенная езда: едет, едет, вдруг гикнет, взмахнет кнутом, и помчались лошади во весь дух – верста-две и опять ровненько. Этот марш-марш такая прелесть, какой не передать никакими словами: тройка, как одна, подхватит и мчится так, что дух захватывает, чувствуется сила, для которой нет препятствия. На гору тоже влетают в карьер, какая бы она крутая ни была. Понятно, что для лошадей это зарез, и только вольные кормы да выносливость сибирских лошадей делают то, что с них это сходит, как с гуся вода.

Когда опять поехали ровно, Иван стал вполоборота и ждал, чтоб я снова заговорил с ним.

Иван толковый парень, услужливый; он уже ездил со мной целый месяц и, несмотря ни на какие дебри, ни перед чем не останавливался, – смело лезет, куда угодно.

Его молодое красивое лицо опушено маленькой бородкой. Воротник бумажной рубахи высокий и плотно облегает шею; вся его фигура сильная, красивая, с той грацией молодого тела, которая присуща двадцати – двадцати пяти годам.

Он старший заправила в доме; отец, кроме пасеки, ни во

что не вмешивается. Практичность его и деловитость чувствуется и проглядывает во всякой мелочи. К нему все относятся серьезно, то есть с уважением.

– Серьезный парень, умственный мужик, всякое дело понять может.

Жена ему под стать, и, несмотря на ласковые улыбки, чувствуется в ней практичная баба, хорошо познавшая суть жизни.

Я люблю говорить в дороге. Я вспомнил о распространенном здесь поверии о змеях.

– А скажи мне, Иван, змеи залазят в рот человеку?

– Залазят, – ответил Иван и повернулся.

– У вас в деревне залазила к кому?

– У нас нет, а в прочих залазила. Много примеров. В прошлом годе в Пучанове одному залезла. Вынули. Может, заметили мельницу на Сосновке, – вот там невдалече и живет знахарка, которая их вытаскивает наговором ли, как ли, я уж не знаю. Этот, которому залезла, чего-чего не делал, к доктору даже ездил. Доктор говорит: «Может ли это быть, чтоб живу человеку змея могла в горло влезть? Никогда этому поверить не могу». – «Верно, говорит, ваше благородие, действительно залезла». – «Ты сам видел?» – «Никак нет, говорит, я спал на траве, а только сон мне приснился, будто я пиво студеное пил, ну, а уж это завсегда, когда она влазит, такое пригрезится». – «Не могу поверить, говорит, свидетелей представь». Ну действительно сродственники, кои при-

везли его, удостоверяют, что действительно, значит, верно. «Сами, говорит, видели, как влазила?» – «Ну, действительно сами то есть не видали». – «Так я поэтому не могу», – говорит доктор. Туда-сюда, ну и выискался такой, который видел, значит. Привезли его к доктору, а то и лечить ведь не хочет. «Видел?» – говорит. «Видел, ваше благородие, своими глазами!» – «Как же она влезла?» – «А вот этак, говорит, только хвостиком мотнула», – и показал, значит, пальцем, как мотнула. «Доказывай, говорит, крепко доказывай». – «Так точно, говорит, доказываю». – «Сам видел?» – «Так точно, говорит, видел». – «И под присягой пойдешь?» – «Пойду». Ну, действительно, если, значит, видел, так ему и присяга не страшна. «Ну хорошо, говорит, значит, тому, к которому змея заползла, – должен ты нам теперь расписку дать, что согласен, чтоб мы тебе змею вынули, а мы тебя натомить станем, покрошить, значит».

Ну действительно не согласился он и от лечения отстал и поехал к этой самой знахарке. Знахарка вникла и баит: «Ох, паря, нехорошее дело. Испытать надо». Дала ему порошков таких, чтобы уснул он маленько. «Мне, говорит, допрежь того увидеть ее надо. Уж если она есть, не может она, значит, против меня, беспременно должна показать голову»: Ну действительно только он это заснул, чего уж она сделала, вдруг рот у этого человека раскрывается, и показывается она самая. Высунулась и вот этак головой повиливает на все стороны. «Тебя, говорит, нам и надо». Разбудила мужика: «Есть,

говорит. Теперь она, говорит, от меня никуда не уйдет, потому должна мне повиноваться. Теперь настояще уж стану лечить».

Истопила это она печку жарко-нажарко, дала ему еще по-рошка, положила его вплоть к себе, а сама голову, значит, обзанавесила, чтобы не видно змее, значит, было. Вот только он это уснул, сейчас опять рот раскрывается, и вылезает она. Раньше только голову показала, а теперь четверти на полторы вылезла. А сама уж кровавая, красная, как огонь, толстая, действительно, кровью уж упилась. Как она это вылезла, а знахарка ее за шею, да в печку, в самый жар. Тут она и свернулась в кольцо; свернулась и закипела. Закипела, закипела и стала черная да узкая... да вот, как вот этот кнут, этакая стала. Разбудила она тогда мужика: «Вставай, говорит, молись богу – вот твой мучитель», – и кажет ему. Ну, действительно к доктору посылали эту самую змею.

– Что ж доктор?

– Что ж, уж ему деться некуда: змея, так змея и есть.

– А зачем она его не разбудила, как только вынула?

– А нельзя. В то самое время никак невозможно никому, кроме знахарки, видеть ее. Сила в ей такая, значит, что должен тот погибнуть, кто ее увидит, кому ж надо?

– А знахарка не погибает?

– Действительно не погибает, потому слово такое противное знает. Много ведь случаев. В прошлом году старик в соседней деревне здоровый такой был из себя, соснул тоже так,

на гриве, а с того дня стал сохнуть, сохнуть, через год помер. Ну, так и смекают, что не иначе, что влезла к нему. Вредная ведь она: прямо к сердцу присосется и пьет из него кровь; пьет, пьет, пока всю не выпьет, ну, и должен человек помирать от этого. А то еще оценится, детенышей разведет штук двенадцать, да они примутся тоже сосать, вытерпи-ка тут, когда тринадцать ртов к сердцу присосутся. Не дай бог никому, врагу, не то что...

– Неправда все это...

– Непра-а-вда? – озабоченно протянул Иван и повернулся ко мне всем лицом, – Нет, господин, правда, – проговорил он убежденно, и нотка сожаления к моему невежеству послышалась в его голосе. – Неправда? Весь народ в один голос говорит, – значит, правда. Да вот со мной какой случай был. Подростком я еще был; отец отлучился, а я и вздремнул – пахали мы. Только вот точно кто меня толкнул. Открыл глаза, а она вот этак возле моего локтя свернулась, подняла голову и смотрит на меня, высматривает, значит. Так холод этак меня схватил – не могу ни рукой, ни ногой пошевелинуть, лежу и гляжу, а она на меня глядит. После спустила головку и поползла прочь; уж как ушла в траву, – я как вскочу да крикну! Отец прибежал: что, что такое, а я кричу, а сказать ничего не могу. Это уж верно, – хочешь верь, хочешь не верь. Доктор, он, конечно, по-своему толкует, спит себе, к примеру, на постели, так действительно не влезет, а поспи-ка на траве: даром что доктор, – в лучшем виде залезет, потому что, зна-

чит, дозволено ей. И станет залезать, и ничего не поделает, – предел ее такой. В ней тоже ведь своей воли нет же. Доктор тоже ведь... Вот и станция Варюхина.

– Отчего деревни у вас грязные такие? В избах хорошо, цветы у всех, а на улице грязь?

– Действительно против российских у нас погрязнее буд-то, ну, а жить можно.

Нашел чистоту!

Село, как все здешние. Издали это потемневший склад всякого лесного хлама: тес сквозит, сруб без крыши, покосившиеся избы, иная совсем запрокинулась, а внутри чисто, цветы, пол обязательно устлан местной работы ковром.

Глава III

Вариант по берегу Томи. – Встречи. – Пахом Степанович.

Вечером приехали и в Талы. Переночевали и с утра с партией на работу. К вечеру кончу и назад в Башурино. Работа то в поле, то в лесу, по берегу Томи. Запах полевых васильков, июльское солнце. Вчера была осень, сегодня – настоящее лето. Нежится земля; трава лениво качается; деревья сонно шумят, убаюкивая некою лета. Иван уехал, вместо него Степан Павлович. Громадная русская телега, громадная лошадь, громадный хозяин Степан Павлович, лет шестидесяти, рыхлый, пухлый, добродушный и мягкий. Со смекалкой, хорошо, толково объяснил, что мне надо было. Любопытный, но спрашивает очень осторожно и, видно, много думает, прежде чем спросить. Рабочие новые, но, по наслышке, пошли охотно. Ненадолго: всего один день. Кстати, воскресенье: заработают на гулянках.

Все парни в красных рубахах, в высоких сапогах, веселые, беззаботные и праздничные. Грызут орехи кедровые, острят втихомолку и хихикают. Работают споро, вообще держат ухо востро. Очень заботливо отнеслись к вопросу о воде, так как в степи взять негде. Взяли два лагуна, – будет из чего чаю напиться. Тянемся шаг за шагом по косогору. Попали в лесок; солнце морит, ветер шумит где-то по деревьям, а книзу мало доходит; аромат спелой травы приятно щекочет ноздри.

Пасека внизу косогора: тихо в ней, не шелохнет; благовест несется с противоположной стороны Томи; пахнет медом; дед в чистой рубахе. Везде праздник. В небе ни тучки, и ветер поддувает так, точно делает праздничную добровольную работу. Все располагает к неге, к ничегонеделанию. Тяжелые сухие сапоги, теплая куртка кажутся еще тяжелее; ноги горят, жарко, а снять нельзя: заест гнус. Все он отравляет, хуже всего сознание, что никуда не уйдешь от него, убьешь одного – их тысячи новых. Здесь так и говорят: до Ильина дня убьешь одного – решето прибавится, а после Ильина убьешь одного – решето убавится. Жарко, и в порядке мучений теперь овод и слепень наслаждаются; комару, напротив, тяжело, жарко – «он изопреет».

– А чему преть-то, – презрительно замечает рассказчик.

Вылетела целая семья тетеревей; молодые еще, плохо летают.

– Лови, лови! бей, бей!

Замахали руками, бросились за ними. Один прямо на меня: я – тетрадью... Мимо, конечно... Тетрадь подняли, а карандаша нет. Все-таки нашли, хотя провозились с четверть часа. Трофей есть – одну тетерьку убили.

Как заманчиво синееет Томь! Мартышки белые летают взад и вперед. Красивая будет дорога! Немного поля, и опять лес, мелкий березняк, комар, слепень... К вечеру мошка подымется; ночью клопы и блохи есть будут.

Заяц выскочил.

– Лови! бей!

Нет, не работается... Ничего не хочется, – лег бы и лежал; глядел бы в голубое небо, прислушивался к ветру и ничего не думал бы. Морит солнце: все точно разваренные; дышишь не воздухом, а прямо горячими лучами раскаленного ядра. Даже в лесу трава – могучая, сильная, сочная – как-то сваяла. Ну и контраст: градусов сорок жары, а вчера осень была.

– Змея!

– Вот эта вот самая и залазит человеку в рот.

Змея, узкая, короткая, черная, как смоль, лежит, свернувшись клубочком. Прижали ее топорищем.

– Я те отучу лазить, – говорит парень.

Вынул трубку, собрал оттуда, какой был, сок на палочку, придавил ногою ей шею и, когда она открыла рот, сунул ей содержимое далеко в горло. Змея мотнулась, вытянувшись, околела.

– Готово! сдохла!

Никотин действует на змей мгновенно.

Нет, не работается: все интересно, кроме работы.

Наткнулись на ягоды и рассыпались, забыв про линию; главное начальство, я – во главе. Чтобы замаскировать скандал, приказал привал делать и завтракать.

Нет, я русский человек. Много работы – летит она, час за день идет; а станет убавляться, – все тише да тише. Такова уж натура русского человека: навалился и поослаб; поослаб, силы набрался, – опять навалился.

Рабочие мои все из одной деревни – Басалаевки. Особенность этой деревни та, что все носят одну фамилию Басалаева. Вся она пошла от солдата екатерининских времен. В ней изб пятьдесят.

– И еще наш род все от того же старика пошел в других местах. Прежде ведь много таких было. Поселится, а теперь целая деревня стала.

Коснулись значения будущей дороги.

– Российские говорят: где пройдет она, там урожаю меньше будет.

– А наши которые старухи толкуют, что как пройдет она, так и свету конец.

– А которы бают, что в ней дьявол сидит.

– С иконами ежли против нее выйити, – она не устоит.

– Ну, а все-таки хуже же станет после нее, коней хоть ешь тогда.

Лениво, но добросовестно ввожу их в курс дела. Слушают, по обыкновению, с охотой и понимают.

– Глупый ведь мы народ. Тут как-то один на двух колесах (велосипеде) проехал, – так которые со страху на землю попадали: антихрист, дескать, едет.

– А что, ваше благородие, ты тоже из чиновников же будешь?

– Какой я чиновник!

– И мы-то тоже баим: неужели чиновник станет день-деньской на своих ногах ходить! Из наших же, поди: подучили

маненько и пустили, а чиновнику где уже!

Рассказчик пытливо смотрит на меня, но, видя, что я улыбаюсь, говорит сомнительно:

– Известно, темный народ; чего мы знаем. Не было того примеру, ну, всяк в свою дудку и задул.

Мой старик подводчик поел хлеба, перекрестился, испил водицы. Остальные лениво жуют. Я сижу на громадной телеге; старик зевает во всю свою богатырскую мощь и крестит рот.

– А поедешь в Варюхину? – обращается он ко мне.

– Поеду.

– Нынче мы же свезем, пожалуй.

– Ладно.

– Наша деревня Тальская – охотники возить, на тракту живем – завсегда заработок. А вот Поломошная, к примеру, всего в пяти верстах, а за рекой, негде взять копейку: колотятся. А мы, слава тебе, господи, – нельзя гневить бога: кто с умом да с толком – можно жить ладно.

Подошли двое.

– На перепутье! – так здесь здороваются.

– Мир вам.

Молчат, и мы молчим, смотрим друг на друга.

– Планируете? Линию, значит, наводите?

– Планируем.

– Резев, поди, большой будет?

– Нет, не очень.

– Когда не больно большой, – бойко, убежденно проговорил разбитной парень, – я ведь это дело хорошо знаю. Пойдут это будки, станции, – очень даже большой.

Я не стал возражать этому специалисту.

– Ты кто? – спросил я лениво.

– Мы так... – сухо, с достоинством ответила мне неопределенная личность.

Помолчали и разошлись.

Еще трое. Эти типичные. Средний – громадный мужик с невероятно большим лицом. Мягкие, толстые губы сложились в такую гримасу, какую часто встретишь в окнах, где висят разные комичные маски с исполинскими ртами. Широкий нос мясисто и тяжело уселся над верхней губой; нижняя челюсть выдвинулась, широкие карие глаза смотрят как-то остро и напряженно. Всклобоченная борода, курчавые черные волосы, – все массивно, крупно и с запахом. Лет ему за пятьдесят. Товарищ его среднего роста, полный, самодовольный, с бегающими глазками, средних лет. Третий – бесцветный, белобрысый, с белой бородой, все время молчал.

Говорят двое.

– На перепутье!

– Мир вам!

Маска смотрит так, как будто вот-вот ухватит меня за горло с воплем: «Держи его!» Так большая мохнатая собака свирепо бежит, и думаешь: вот разорвет. Но что-то доверчивое в ней останавливает руку, взявшуюся за камень. Собака без

страха подходит и оказывается глупой доверчивой собакой и вместе с тем симпатичной. Вот такое же впечатление производит и маска Пахома Степаныча.

– Всё ли живеньки-здоровеньки? – проговорил мужик с бегающими глазками, обращаясь к моему старику.

– Живем, поколь господь грехам терпит.

– Ну, и слава богу, – пропел в ответ крестьянин. – Счастье вам, Тальцам, как погляжу, – проговорил он, – всё ямщина – лопатой гребете деньги.

Он подмигнул на меня и посмотрел вбок.

– Хоть бы нам этакое счастье. Мы ведь, ваше благородие, все здешние места с завязанными глазами знаем.

Ввиду почти всякого отсутствия карт потребность в опытных руководителях никогда не прекращается.

– Так что ж, послужи, если охота.

– С нашим мы удовольствием, со всей охотой.

Маска с завистью посмотрела на пристроившегося товарища.

– Ну, для начала скажи: заливает Томь вон эту лужайку?

– Какую? Вон энтую? Редко же; так сказать, в сорок лет раз, никак не больше.

– Пошто? – выпалила маска.

– Так будто, Пахом Степаныч, – мягко проговорил он.

– Пошто? – опять выпалил Пахом Степаныч. – Бабка

Нечаиха коли умерла?

– Ну коли?

– Коли? А телку-то, эвона, бурую-то у меня коли увели?

– Я что-то не припомню.

– Не припомнить? А Никитка, хоть он тебе и дядя, будь он проклят, мое сено коли уволок?

– Ну, и уволок уж!

– Не уволок? Я в тюрьме сижу? Слышь ты, твое благородие, – эвона какое дело вышло, ты только послушай, и тут тебе такие дела откроются. Ну, вот хоть тебя взять, – ты как считаешь: можно человека без вины, без причины валить на землю да нещадно драть розгами?

Пахом Степаныч не то что громко говорил, а прямо кричал.

– Да ты что его благородию шумишь-то?

– Постой, – досадливо перебил его Пахом. – Ты послушай только, господин, какие у нас дела творятся. Рассказать, по-поди, так не поверишь. А все право. Вот хоть, к примеру, он. Ну что, нешто не били меня?

– Мало били, – шутливо ответил крестьянин.

– Не валили, как быка, на землю? ну?

– Ну что ж? Валили.

– Валили? – с горечью переспросил Пахом. – А по закону это?

– Стало, по закону.

– По закону? Человека обесславили, – я вор, что ли?

– Кто же говорит?

– Так за что ж меня били?! – вскипел вдруг Пахом.

– Да отстань ты, ну тебя... я тебя, что ли, бил? Мировой назначил.

– Мировишка ваш такой же, как и вы все. А за что, ваше благородие, спроси. Банишка паршивая сгорела; она, значит, не сгорела, а хотели за нее деньги получить, будто сгорела, так, ветхая... пять рублей. Назначили меня в осмотрщики. Гляжу я: что такое, где она горелая, когда она вся тут?

– А тебе надо долго было мешаться? свои деньги платили, что ли?

– Постой! – сделал страшную гримасу Пахом, открыв свою бегемотовскую пасть, – не за свое дело стоял, за мирское.

– Ну, вот тебе и мирское, – ехидно хихикнул крестьянин.

– Постой... Ладно. Что ж я худого сказал, твое благородие! Только и всего, что старшине, как он свой приговор постановил, так что баня сгорела, ну действительно сказал, что все вы – одна сволочь – и верно!

– Ну, вот тебе и вышло верно.

– Паастой!.. Ну вот, призывают меня после того в правление и без суда и спроса, так и так, пятнадцать розог. Не желаю. «Вали его!» Дай, говорю, месячный срок обжаловать, дай двухнедельный, дай недельный, дай три дня!

Голос Пахома перешел в какой-то воющий рев.

– Навалилось десять человек народу, что я поделывать могу?! Один хватает за руки, другой ноги, третий рубаху рвет...

Пахом Степанович замолчал на мгновение.

– Уперся я, – начал он снова, – в первый раз тихо этак рванул: раз-другой, – ну, сила, можешь видеть, – посыпались кто куда... Опять насили... опять таскали-таскали – брякнули на скамейку ребром, так и сейчас вышибленное. Ну, уж там дальше, как в тумане. Повалили, уселись на само на ребро, били-били, – я уж не помню. Ну, отлили, отошел. Я в ту же минуту прямо в город. Пришел к губернатору и прямо ему так и говорю: «Ваше высокопревосходительство, глядите», да и поднял рубаху; поднял рубаху, а там все тело так и запеклось. Взял его пальчик да и вожу по ребру, а ребро-то: трик-трик. «Это что ж такое?» – говорю. Ну, меня сейчас в госпиталь на излечение. Следствие...

– Ну?

– Ну и ничего: кому надо?

– Да не слушайте вы его, ваше благородие, утомит он вас, а толков никаких ведь не добьетесь... пятнадцать лет вот мотает и себя и мир, – уж его и на высидку присуждали – совсем супротивный человек стал.

– Супротивный? – Пахом плюнул и быстро ушел.

Отойдя, он остановился, как будто рассматривая что-то, а сам слушал.

– Вина не в старшине тут была, а в мировом. Вышел приказ, старшина взял да и выпорол. А мировой-то смекнул, что дело неладно, и водил его все это время, – ну, а теперь действительно ушел, и дело открылось. Так ведь сколько лет же ушло. Да и дело он свое сам же испортил. «Не стану, говорит,

подати платить, когда так», Совсем отбился, – до сих пор и не платит. Ну, нынче велено продавать у него сено и дрова.

– И не буду платить! – гаркнул издали Пахом, – по какому такому закону меня калекой сделали? Кто бил, тот и плати.

– Совсем пустой мужичонка. Жил хорошо; все смотал, все бросил, все перевел на клязу, – ничего не стало; вся изба завалена – все черновиками да прошениями, – сосут с него, конечно, а он всё собирает их. Чуть что и сейчас: «а черновик?», а что такое черновик, и не расскажет, поди. И так уж он иссутяжничался, что чуть что кто, сейчас тянуться. Семна ему тут богатый мужик продал, так ведь что выдумал? «Не всхожи», – баит. И ведь суд затеял на пятьдесят рублей. Мужик-то богатый, взял да и вынес ему пятьдесят рублей. «На вот тебе, говорит, я такой же человек и останусь, а ты все такой же прохвост будешь». Право, так и сказал, так и отрезал. Пустяшный человек, разговоров не стоит. А теперь, прямо сказать, умом тронулся, – хихикнул крестьянин, заглядывая мне в глаза. – В город опять идет: прослышал, князь какой-то едет. Кто едет – он сейчас же торбу на плечи, айда пошел...

– Сволочь! – плюнул Пахом Степанович. – До смерти буду ходить, а правду-матку найду. Из-под земли ее вырою!..

Так и запечатлелась эта громадная, тоскующая, точно в кошмаре каком, фигура с своими черными курчавыми волосами, которые, как змеи, обвилились вокруг громадной его головы.